

Несомненно, Рунеберг был великим поэтом, даже гением. Как и Пушкин, он был национальным гением. Под национальным следует понимать как финскоязычную, так и шведскоязычную финскую национальность, т. к. у поэта и в мыслях не было разделять ее по языковым группам.

В поэзии Рунеберга — лязг классических римских мечей, в его образах — классическая доблесть, немало патетики, но и разудалого юмора. Рунеберг смог создать типажи, в которых народ Финляндии с удовлетворением узнавал себя в то время, прежде чем галерея героев Вяйнё Линна оттеснила своих очень аристократичных предшественников в качестве символов финского народа.

Рунеберг, однако, в отличие от Пушкина не стал символом молодости и свободы. В памяти потомков он, разумеется, останется лишь благодаря своему несчастному концу, когда он был парализован. Его творческая сила также не достигала уровня Пушкина, смерть которого на дуэли по истечении времени может казаться почти неизбежной. Но кто может вообразить такое же о судьбе Рунеберга? В России боролись, у нас дрались. Так говорили уже в то время.

Пушкин и Рунеберг в некотором смысле встречались в кругу петербургской интеллигенции. Грот и Плетнев восхищались обоими и знали обоих. Но все же эти два поэта не встречались и никогда не встретятся, т. к. Россия — это Россия, а Финляндия — это Финляндия.

Если Пушкин в России и в наши дни живой классик, это отнюдь не преуменьшается тем фактом, что Россия наших дней немало похожа на Россию пушкинских времен, тогда как в Финляндии далеко ушли от культуры времен Рунеберга. В России все еще есть заказ на свободомыслящих поэтов, вдохновляющих восстания. В Финляндии поэзию провозгласили ненужной еще в 1950-х гг., после этого она уже не поднялась.

Я. Аренберг и тень России

Я. (Юхан Якоб) Аренберг на рубеже XIX–XX столетий был видным деятелем культуры. Прежде всего он был архитектором. В облике его дома сохранились те архитектурные черты, следы которых можно найти во многих общественных зданиях того времени — церквях, казармах, школах и, например, в убранстве императорского рыбацкого домика на Лангенкоски, в савонлинском

курорте «Казино» и нынешней резиденции премьер-министра «Кесяранта», даже в Хельсинкской синагоге. Аренберг был выборгским космополитом, который чувствовал себя как дома в Стокгольме и Париже, в Италии и Греции, но также и в метрополии — в России, языком которой он владел. Помимо этого он, как писатель, живо интересовался своей родиной, особенно Восточной Финляндией и ее жителями — как дворянством, так и купечеством, как лестадиоланцами, так и служившими в России соотечественниками.

Представление Аренберга о России и той границе, которая разделяет Финляндию и Россию, исключительно интересно. Писатель очень хорошо знал российскую среду и то напряжение, которое испытывали финны на службе в России. Его роман *Haapakoskelaiset* («Семейство на Хаапакоски») был опубликован в 1893 г., т. е. в то время, когда отношения между Великим княжеством и метрополией еще не были разорваны, хотя российская националистическая пресса уже открыла ураганный огонь против особого положения Финляндии и ее рунебергско-топелианского патриотизма. Плохим предвестником можно было уже считать почтовый манифест 1890 г.

Герой романа — финский барон Эрик Хорн, один из тысяч тех, кто во времена автономии служил в рядах российской армии. В российских светских кругах Эрик не был представителем великого рода. Как лютеранина его отождествляли с дюжиной дворян-немцев, «Карлов Карловичей», которыми Россия была полна и которые «посматривали неприязненно».

Иначе у Эрика сложились отношения в своем окружении, у него — хорошие русские друзья и московские светские круги и времяпрепровождение — все совершенно другое, чем невзыскательное бытие в Финляндии. В Москве Эрик также нашел свою будущую супругу — Елену, очаровательную женщину, последовавшую за ним в Финляндию. Елена происходила из татарского княжеского рода, который оказался, правда, в крайней нужде. Культурный шок этой женщины был полным. Елена не владела ни шведским, ни финским, а знакомые супруга не владели русским. Общение поддерживалось до некоторой степени на французском и немецком языках, но чете это радости не доставляло, т. к. Эрик стал губернатором в финском городке, который в действительности не был больше села. Уже по прибытии в усадьбу Хаапакоски княгиня испытала ужас: то, что она сочла за жилище для прислуги, являлось главным зданием усадьбы. Средства передвижения

напоминали крестьянские повозки. Молодой жене не хватало энергии и старания. Она хотела стать финкой, но это было невозможно.

Елена писала в Россию: «Такова Финляндия. Ты здесь как за границей. Это видно в тысячах дел, и во внешнем порядке, в необычайной чистоте, которая не свойственна нашей любимой Москве. В тысяче мелких дел, которые не все мне по душе, ведь я русская женщина; финский облик для меня не подходит. Более всего для меня досадно странное, нескладное прямотушение, когда говорят прямо и без прикрас о делах, о которых и слышать не хочется».

Елена поведала также и о Рунеберге, на котором держался весь финский патриотизм: «И затем мы читали немного этого знаменитого Рунеберга. Мой супруг дал мне с каким-то благоговением его книгу... Я заметила что-то общее между Вагнером, композитором, которого я не люблю, и этим Рунебергом, который, зная его немного, как я понимаю, величественный поэт. Оба используют искусство с какой-то определенной целью. Первый низводит свое искусство, свою музыку до того, чтобы заявить, что, пожалуй, все привычные выражения прискорбно детские. Как мне кажется, и Рунеберг не свободен от этого заблуждения. Он жестко держится за свою страну и в каждой строфе подчеркивает долг перед ней...». Елена сравнивает Рунеберга с еврейским национальным поэтом Фруги¹, хотя и ставит его значительно выше. По мнению Елены, Рунеберг «спокойный и высокопарный. С другой стороны, я никогда даже в его самых красивых строфах не встречала такой свободно бушующей поэзии, как в словах Надсона». Елена очарована творчеством Надсона, который «стих делает стихом, без какой-либо цели».

Елена не сравнивает Рунеберга с Пушкиным, но в книге русского национального поэта оценивает Эрик Хорн. Герой стоит у памятника, по случаю открытия которого в 1880 г. от произнесенной проповедовавшей братскую любовь речи Достоевского принимавшая участие в торжествах публика впала в умиление. Хорн озирает памятник, «*мастерский образ феномена славянского гения*» глазами иностранца: «*Проживший страстную жизнь, слабонервный, беспокойный и безбоязненный, стоит он отлитый из бронзы: великого художника великолепный памятник великого поэта. Хорн перечитывает высеченные в камне высокопарные строки:*

¹ Вероятно, речь идет о Семене Григорьевиче Фруге (1860–1916) — российском поэте, еврее по национальности.

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И долго буду тем народу я любезен,
Что чувства добрые я лирой пробуждал,

передаваемая которыми оценка свидетельствует о том, что поэт сам написал это».

Аренберг цитировал поэта очень свободно. Он объединял рифмы из разных строф и забывал центральные темы своей книги.

Стихотворение Пушкина, которое было выгравировано на его памятнике и которое каждый русский считает блестящей самохарактеристикой поэта, отсылает к более известным строфам Горация о прочности славы: *Exegi monumentum aere perennius*¹. Пушкин говорит о созданном им самим нерукотворном памятнике, что в русской среде отсылает также к «нерукотворной» иконе.

Прочитированные выше слова, выгравированные на установленном в центре Москвы памятнике, были на самом деле открытым вызовом российской интеллигенции властям. Тем, однако, пришлось его проглотить, т. к. культурный авторитет Пушкина был настолько велик, что и самая грубая диктатура все же вынуждена была разыгрывать уважение к поэту. Так же было и в 1937 г., в связи со столетием со дня гибели поэта, когда т. н. Большой террор достиг своего апогея. Как констатирует в одном из своих исследований по истории России классик Шейла Фитцпатрик, в год Большого террора пресса была заполнена Пушкиным, а отнюдь не Марксом, Лениным или даже Сталиным. На самом деле коммунистическая партия стремилась присвоить все наследство «прогрессивной» культуры, к которой Пушкин, бесспорно, принадлежал. Разумеется, это было совершенно фальшиво, и те миллионы людей, которых в том году расстреливали и арестовывали, едва ли могли считать мероприятия в честь Пушкина чем-то иным кроме как уродливым фарсом. Пародия стала невозможной.

Но символика памятника Пушкина как глашатая свободы и человечности понятна всем и в наши дни. К нему всегда идут угнетенные и оскорбленные, и в эти дни к нему идут те, кто сопротивляется жестокой руке режима. «Власть» в России всегда находит поводы для того, чтобы разгонять манифестантов, задерживать и бить их дубинками. Но в Москве это происходит на фоне памятника Пушкину...

¹ «Я памятник воздвиг прочнее меди».

Однако вернемся к Хорну. Он более не комментировал этот символ русского народа. Читателю, впрочем, не доставляло труда понять, что похожий на Рунеберга финский гений был гораздо менее слабонервным и более скромным, а также вел более упорядоченную жизнь. Рунеберг в своей более спокойной величественности был в любом случае представителем иного мира, чем Пушкин. Финский поэт твердил о своей родине, не был склонен воспевать радости, как отмечала Елена. В этом, пожалуй, существенное различие между финским и русским восприятием жизни. Эрик видел степи и огромные российские столицы, поля сражений и казармы, он знал язык и понимал людей. Он кратко сформулировал свое мнение о России, *«об этой приятной мне стране, в которой я прожил и сражался так много лет. Один великий мыслитель как-то сказал о них, что вы бежите впереди до беспредела. Вы не боитесь преувеличений своих выводов. В добре и зле никто не заходит настолько далеко, как вы. Но вы устремлены к своим мечтам, которые недостижимы. Взгляните на своих собственных вождей и на то, ради чего они трудятся. Некоторые из них, славянофилы, желают наложить печать сходства на 115 миллионов человек в своей стране. Это бесполезно, ненужно и невозможно, так как единство — вовсе не в единообразии, единство — в сердце человека и его не достигнешь насильем, а лишь согласованием...»*.

В конце концов, пропасть между Финляндией и Россией явно уходила своими корнями в веру. Отец Эрика требовал, чтобы сын Эрика и Елены был крещен в лютеранской вере, не потому что стал бы верующим, а потому, что *«вера и язык накладывают свою печать на обычаи страны, а те, в свою очередь, на законы, так как обычай более древен, чем закон, он его мать, основа всех наших сводов законов и постановлений»*.

По прихоти судьбы мальчика, однако, не только крестили в православную веру, но и сделали русским по мировоззрению, хотя он и выучил в некоторой степени шведский язык и представлял свой род на заседаниях сейма Финляндии. В сейме молодой Эрик вызвал скандал, осмелившись по-русски снисходительно подшучивать над пылкими речами авторитетных господ.

Наследник Хаапакоски воспитывался в Пажеском корпусе, он был находчивым, с хорошими манерами, владел официальным языком империи. Ему можно было предсказывать быструю карьеру, т. к. *«его не сдерживают ни этническая память, ни национальная ослепленность, ни ненужный аристократизм, и у него всегда есть твердая поддержка со стороны роскошной, ясно мыслящей и влиятельной матери»*.

Молодой Егор Егорович стал мыслить по-государственному, так же как и Маннергейм, служивший в то время в императорской России. Так же, как и тот, он держался вне мелких местных споров и принял участие в церемонии коронования и торжествах по случаю 200-летия победы под Полтавой.

В экспозиции романа Аренберга пропасть между Финляндией и Россией выступает как культурная и национально-государственная пропасть между двумя разными жизнеощущениями. Русские как народ восхищают, их культура великолепна, но финн не может поменять ни собственную культуру, ни свою родину. Финляндия — страна Рунеберга в том смысле, в каком Россия — страна Пушкина. Россия — бескрайна и безгранична там, где ограниченность Финляндии ранима. Единственной защитой Финляндии был ее гражданин — в этом романе, прежде всего, показан патриотизм ее «первого сословия». Финляндии следует быть — в рунебергском значении слова — финской, иначе она перестанет существовать.

Интересным сюжетным ответвлением в книге является то, что Елена происходит из татарского рода, родоначальник которого, «старый гайдамак» был воплощением распутства, и этот порок заметен и в поколениях его потомков, в облике дяди Елены. Писатель и намеком не показывает, что влияние этих явно плохих генов проявилось бы в Елене или в сыне ее и Эрика, в молодом Эрике, т. е. Егоре. Как висящее на стене ружье должно выстрелить в завершающей сцене спектакля, так и читатель должен дожидаться, когда наследие «старого гайдамака» даст о себе знать в новом поколении, но для читателя все ограничивается только письменами на стене.

Увлеченность того времени идеями значимости расы и ответственности дает о себе знать в романе, и это подтверждает картина слишком тесной связи со многими опасностями, хотя Россия сама негативно не описывается. Образ «старого гайдамака», бесспорно, связан со старым, еще наполеоновских времен клише о «татарстве» русских, и при желании его можно обозначить как проявление «ориентализма». Однако речь скорее может идти только о художественном стилистическом средстве, при котором за идиллией следует зловещая тень.

Герой романа Аренберга не был только литературным образом. На самом деле это был так хорошо выписанный скетч, что главное лицо — министр-статс-секретарь Вольдемар Карл фон Ден — сразу узнал себя и упрекнул писателя в том, что он воспользовался его образом.